

*Но на небе нет нуждающихся:
там все блага преизобилуют...*

Из «Размышлений христианина
об Ангеле Хранителе
на каждый день месяца»
(по изданию 1890 г.)

Виктор Прокофьевич сосредоточенно пригляделся: мимо его дома по осенней набережной на фоне судорожной пляски волн Воронежского «моря» катился велосипедист: мужичок-худышечка лет несколько за шестьдесят, седенький, сильно ссутулившийся и через то похожий на горбуна. Эка, казалось бы, невидаль! Но была у этого путешественника одна серьезная особенность, которую никак нельзя было не заметить: у его велика отсутствовали обе педали. Так что он катил свою технику, как мальчишечка — самокат: размеренными толчками левой ноги. Шарк-шарк-шарк... Упорно так. Как ни в чем не бывало. Мы, мол, такие. Завсегда. Нам пальца в рот не суй.

Сей абсурдный способ передвижения невольно навел Виктора Прокофьевича Степанова на стезю его известных больных размышлений: годы крайние, серьезные, то есть пожито им от души, но ему так и не довелось увидеть, чтобы главный человек в нашей стране — так называемый «простой» — жил нормально, в достаточном благополучии, а не наперекосяк.

Правда, был прецедент, был порыв... В годы оные как-то советская власть замахнулась осчастливить свой народ по полной программе... И что только тогда на главного человека в стране, на приснопамятного Никиту Хрущева, нашло?.. Откуда только объявилось в нем невиданное рвение в конкретные двадцать лет материализовать некогда бродивший по Европе призрак коммунизма в самый что ни на есть настоящий, реальный, хлебосольный образ всеобщего безбрежного счастья?

Вспоминать грустно. И забыть невозможно.

С молодых ногтей ожидание построения коммунизма стало у Вити такой что ни на есть настоящей путеводной звездой: крепко, зачарованно уверовал он в нее... А как не прийти в восторг перед грядущими светлыми горизонтами, которые Хрущев распахнул шире небес?.. Ведь никто и предположить в те годы не мог, куда заведет их разоблачитель сталинского культа личности. Неспроста скульптор Никите Хрущеву посмертно на могильном надгробии голову сделал из белого мрамора и черного гранита: мол, свет и тьма.

Поныне Виктор Прокофьевич, как найдет на него глухая тоска по несбывшемуся коммунизму, так раздраженно обложится томами Маркса, Ленина да Сталина, Макиавелли, Кампанеллы или того же Платона — всем, что умные и не очень люди понаписали за века и тысячелетия о загадочном светлом будущем, — и вчитывается обстоятельно, дотошно, со строгим разумением. Уперто надеясь уловить-таки ответ, на чем и где строительство коммунизма в СССР оскользнулось.

«Известное дело... — бывало, пошучивал на эту тему сосед Степанова по лестничной площадке Анатолий Голомедов. — С призраками не шутят. Вон у нас под Воронежем в Рамони как-то приступили восстанавливать старинный замок принцессы Евгении Ольденбургской, урожденной княгини Романовской. Так тем людям, которые это важное дело начали, вскоре стали являться всякие разные призраки — в итоге почти все они как-то нехорошо один за другим померли... И это весь тамошний народ привело в такой трепет, что работы одно время пришлось остановить — и надолго».

За пристрастность Виктора Прокофьевича к высоким размышлениям сосед Анатолий всегда был к нему со всем уважением особо расположен. И как только в жизни российской происходила очередная знаковая новость, он тут же и объявлялся перед ним для ее пунктуального разбора. А новости регулярно накатывали такие, что мозги враз клинило: то цены на всякие там яйца да сахарок или рыбку какую-никакую невесть почему прыгнули, то иные лекарства вмиг стали такие, что не укупишь, за оплату ЖКХ половину пенсии отдай, с Украиной никак на мирные рубежи не выйдем и вообще...

Совсем недавно они более чем встревоженно говорили за повышение пенсионного возраста. Сам Анатолий был молодым пенсионером, вовремя проскочившим мимо неожиданно грянувших возрастных перемен: еще недавно слесарь-водопроводчик местного ЖЭКа, он второй месяц вдохновенно отмечал свое шестидесятилетие и первую пенсию. Так что обретался с утра до вечера во всей мужицкой простоте — смятых трико и растянутой, провисшей майке, застиранно-серой. Только волосы на голове у Анатолия при всем его зрелом возрасте были без единой седой искры, свежо мерцаая радужным антрацитовым блеском.

— Возможно, это и в самом деле неизбежность... — строго вздохнул Виктор Прокофьевич. — Во имя улучшения дальнейшей жизни народа.

— Значит, по-твоему, если я сознательный гражданин, мне надо от

пенсии отказаться и снова топать на работу в мой любимый ЖЭК? — судорожно вскинулся Анатолий. — Тогда и ты, Прокопыч, отправляйся трудиться прям завтра с утра пораньше в свою рыбокоптильню! А чего? Ты в свои семьдесят два мужик вполне резвый. Потом же был ударником коммунистического труда! Вкалывать тебе — манной кашей не корми! И с нормальной пенсией у тебя какая-то неувязка вышла...

Закрыв за соседом дверь, Степанов аккуратно попросил у Алевтины «капелек».

— Что-то сердце заискрило... Как короткое замыкание...

— Я сегодня в храме вечером буду... — робко проговорила Алевтина. — Закажу панихиду за твоё здоровье... Или сорокоуст!..

И тут Виктор Прокофьевич, как это бывало не раз, когда дело доходило до храмовой темы, рассерженно потянулся к книжному шкафу. Это грандиозное сооружение из маньчжурского темного ореха, увенчанное царской короной в цветах, в свое время досталось ему по наследству от деда-краснодеревщика — и было оно работы дореволюционной, рукодельно-старательной.

Он бережно вытянул из общей обоймы томов Платона, Аристотеля, Цицерона или того же Ленина вкупе с Гегелем тоненькую, старательно зачитанную брошюрку «Морального кодекса строителя коммунизма».

Тихо, строго проговорил:

— Вот она, моя библия... Я, Алечка, атеист коммунистической заправки, а ты... Сорокоуст!

Виктор Прокофьевич усмехнулся. Правда, больше похоже было, что он нервозно всхлипнул.

— Если бы не предательство Хрущева, как бы мы славно жили при коммунизме!.. — напрягся, побледнел Виктор Прокофьевич. — Человек человеку друг, товарищ и брат; всюду и везде — честность и правдивость, простота и скромность; непримиримость к несправедливости, нечестности, карьеризму... Золотые слова! Такие не стыдно на небесах во всю их ширь начертать!

— Сто раз я все это от тебя, дурака некрещеного, слышала... — одними губами усмехнулась Алевтина. — Только в этом твоём моральном кодексе половина всех слов откуда? Из Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Недавно наш батюшка говорил в храме, что Путин тоже так считает... И даже главный коммунист Зюганов! Креститься тебе надо! Все твои нынешние переживания ерундой ненужной покажутся. Как на свет народишься! Этот ваш коммунизм на небесах нас всех ждет! Как твоему Никитке про это кто надо шепнул, так он и отступился его строить. На кукурузу перенацелился.

Виктор Прокофьевич принял корвалол и печально зажмурился...

...Летняя утренняя Волга под Сталинградом с ярким, парадно-белым кораблем на свежей и словно молодой после ночи воде. Он компактный, маневренный и называется «речным трамваем». Витенька — будущий Виктор Прокофьевич, рыбокоптильщик морепродуктов Воронежского «холодильника», ударник коммунистического труда — сидит с родителями на второй застекленной палубе в буфете, который ярко пахнет шампанским, пирожными и ветчиной. Он в матроске и кожаных сандалиях с дырочками. Отец, Прокофий Ильич, в белом летнем кителе с кортиком в черных лакированных ножнах, курит папиросу «Казбек» из твердой распаивающейся пачки, на которой на фоне белоснежных гор летит на коне

в черной бурке стремительный всадник. Отец только что выпил стакан шампанского и слегка вспотел. Мама, Татьяна Яковлевна, вглядывается в даль через похожее на линзу толстое, горячее стекло иллюминатора, словно пропитавшееся солнцем.

С верхней палубы в буфет, изогнувшись, заглянул экскурсовод.

— Товарищ военлет, подходим! Уже хорошо видать! — восторженно крикнул он.

Над яркой солнечной Волгой на высоком постаменте с гранитным цоколем стоял двадцатидвухметровый генералиссимус в шинели и с непокрытой головой. Он был так велик, что облака сверху воспринимались как дым от его знаменитой трубки. Чеканная тысячетонная медь величаво золотилась на солнце. Сталин со своей святогоровой высоты глядел вдаль с недоступной задумчивостью. Памятник казался живым, но это была непостижимая грандиозная жизнь, в которой человеческий век — лишь короткий миг. Памятник жил вечностью.

— Обратите внимание! — торжественно сказал экскурсовод. — Размеры скульптуры поражают своей колоссальностью! На погоне сталинской шинели может свободно разместиться автомобиль «Москвич»! Пуговицы величиной с офицерскую фуражку!..

Он говорил так, словно доверительно приобщал экскурсантов к какой-то одному ему сполна открытой тайне. Это был не экскурсовод, а жрец. Человек, которого связывало с фигурой на постаменте что-то особо сокровенное.

— Как задумчив облик вождя! — счастливым голосом прокричал экскурсовод. — Сколько глубоких мыслей на лице!

— Дяденька, а о чем думает товарищ Сталин? — пискнул тогда Витенька.

— Он думает о твоём счастливом детстве! — вдохновенно улыбнулся экскурсовод. — И о том коммунизме, который будет построен в нашей великой стране по его заветному плану!

Он ласково обнял будущего рыбокопильщика. Волжский ветер трепал ленты Витенькиной матроски. Они оба смотрели на памятник, и все пассажиры неотрывно глядели на этот медный утес, постамент которого был в крапинках людских фигур, точно засижен мухами. Глядели так, будто неожиданно увидели самого близкого, самого дорогого человека.

— Ур-р-ра! — вдруг крикнул кто-то с такой силой, чтобы наверняка докричаться на высоту памятника.

— Ура!!! — грянули все остальные...

Из путешествия во времени Виктора Прокофьевича вернул радостно знакомый звук — в стену его хрущевки призывно постучал Анатолий. Это еще издавна установилась у них такая дружеская «морзянка». С шестьдесят восьмого, когда их родители сюда из бараков переехали, а они с Анатолием подобную мальчишескую методу связи озорно завели.

Так и ныне: как дойдет у кого из них душевное напряжение до крайности, до надрыва, так вот тебе типа домашней «стены плача» — постучи, и тебе откроют...

— С чем пришел, дорогой? — энергично распахнул он дверь перед соседом, выставив вперед добродушную улыбку.

— Пару слов сказать... Весьма продуманных и ответственных. Извини, я снова насчет повышения пенсионного возраста... — многозначительно емко проговорил Анатолий. — Эх, Сталина на них нет!

Строже строго вздохнув, Виктор Прокофьевич решительно шагнул на кухню и взял пару хрустальных увесистых рюмок.

— Хочешь, я тебе в реальности изложу, как умирал наш Иосиф Виссарионович?

Анатолий бдительно напрягся. Подпривстал.

— Отец, «сталинский сокол», как-то поделился. Под большим секретом... — Виктор Прокофьевич взволнованно прищурился. — Под очень большим секретом. Этих фактов ни в каких книгах или самых секретных архивах по истории партии не сыскать. И так, на дворе роковой мартовский день. Товарищ Сталин мылся в бане. И вдруг почувствовал себя плохо... — Виктор Прокофьевич недовольно оглянулся: к ним важно шла через зал Алевтина с тарелкой только что испеченных жарких котлет с тушеной капустой: — Спасибо, добрая женщина... Но вернемся к теме! И так, товарищ Сталин мылся и вдруг... упал. Глаза Иосифа Виссарионовича закрылись, казалось бы, навсегда. А через стекло двери охране все это было хорошо видно. Однако сломать ее и срочно броситься на помощь они не решились. Кинулись искать Берию. Через час-другой у бани сошлись Лаврентий Палыч, Никитка Хрущев, Микоян, Маленков, кто-то еще. Но и эти государственные люди робели войти. Точнее сказать, в штаны наложили. А товарищ Сталин все лежит. Они же мнутя, друг друга вперед легонько подталкивают...

— Ну ты даешь... стране угля! — с хрипотцой тяжело выговорил Анатолий.

Виктор Прокофьевич строго откинулся на спинку стула, руки опустил со сжатыми отяжелевшими кулаками — чувствовал особенность наступающего момента.

— И тут этот, Хрущев, на четвереньки опустился... Выждал. Вроде как даже зачем-то принюхался. Пригляделся... Туда-сюда. А далее лег и по-пластунски пополз вперед к Иосифу Виссарионовичу: медленно, неуклюже, с оглядкой, напряженно прислушиваясь к каждому шороху. И наконец-таки достиг товарища Сталина. Ладонку к его лицу протянул... Каков момент! И вдруг оглянулся — бледный, потный, глазки бегают. «Дышит...» — прошептал-пролепетал голосом испуганного донельзя ребенка. И тогда Сталин, не открывая глаз, сказал им свои последние в этой жизни слова. Тихо, очень тихо, но тем не менее достаточно отчетливо: «Без меня... пропадете».

— Ах ты как!!! Ек-моек! — подхватился Анатолий — судорожно, верно. — Спасибо, Прокопыч! Вон оно что, оказывается... Да-а-а... Артиллеристы, Сталин дал приказ!

— Из сотен тысяч батарей, за слезы наших матерей, за нашу Родину — огонь! Огонь! — командирски усмехнулся Виктор Прокофьевич. — Что, Толенька, готов ли ты в бой за коммунизм после такого моего рассказа?

— Всегда готов! Спина только немного болит... Под лопаткой...

— В том месте, куда моджахед тебя камнем звезданул?

— Ага...

Анатолий накосо запрокинул назад голову, словно хотел увидеть, каковы же нынешние последствия того боевого ранения при штурме дворца Амина под Новый год в былом 1979-м.

Этой ночью Виктору Прокофьевичу уперто не спалось.

Алевтина заботливо напоила его корвалолом, однако незримая стена между явью и забытзем оставалась непоколебима. Точно кто-то на-

казующие не пускал Виктора Прокофьевича в благодатную сферу сновидений.

Тут и вспомнился Степанову тот октябрь 1961-го гагаринского года, когда ему, ученику шестого класса, вместе со всем советским народом торжественно распахнулись ворота в счастливое коммунистическое будущее. А трамплином в эту эпоху благоденствия стал ныне забытый XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Посейчас помнит Виктор Прокофьевич, как они всей семьей следили за ходом съезда по телевизору. На столе, застланном маминой кружевной белой скатертью, глянцево-блескущей от крахмала, стоял взятый напрокат телеаппарат КВН, который тогда расшифровывался гражданами так: «Купил. Включил. Не работает». С экраном чуть более пачки отцовских папирос «Казбек». Поэтому некоторые умельцы увеличивали его изображение с помощью «аквариума» (стеклянной линзы, заполненной водой).

И вот из нутра этого КВНа бойко звучал все съездовские дни песенно-азартный украинский голос Хрущева: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Одним словом, впереди наш народ ждет полная чаша счастья. Только-то и требуется от тебя на пути к нему, что жить по принципу: «Каждый за всех, все за одного, человек человеку друг, товарищ и брат...» Плюс непримиримость к несправедливости, карьеризму и стяжательству...

«Наши цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи!»

В ответ на певучий возглас Никиты Сергеевича все пять тысяч ликующих делегатов съезда с восторгом встают разом, точно взлетев, а их продолжительные аплодисменты перерастают в бурные, несмолкающие овации. Но даже сквозь шквал этих густых, чуть ли не артиллерийских звуков отчетливо, ярко слышатся громкоголосые лозунги, которые выкрикивают явно к тому назначенные особые люди с особыми лужеными глотками: «Слава КПСС! Да здравствует коммунизм! Да здравствует Никита Сергеевич Хрущев!!!»

Такому историческому съезду народ «приготовил» и исторические подарки: построил самую крупную в Европе Волгоградскую ГЭС и взорвал самую мощную в истории термоядерную «Царь-бомбу» на полигоне на Новой Земле.

Отец, уже военный пенсионер, смотрел новости съезда несколько настороженно, побряхтывая. А под конец так и вовсе вдруг выпил полстакана водки и ушел курить в сад свой неизменный «Казбек». Это произошло после того, как первый секретарь Ленинградского обкома Иван Васильевич Спиридонов с суровой вдохновенностью предложил делегатам съезда принять решение об удалении тела Сталина из Мавзолея. Учитывая будто бы серьезные нарушения Иосифом Виссарионовичем ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие антипартийные действия в период культа личности. А следом делегатка съезда, старая большевичка Дора Абрамовна Лазуркина, с мистическим надрывом заявила, что накануне советовалась по этому вопросу... с самим Ильичом! И тот будто бы «стоял перед ней как живой» и говорил, что ему «неприятно лежать в гробу рядом со Сталиным, принесшим столько бед партии»...

— Это с Ленина начались репрессии! — не своим голосом надрывно крикнул в дверь отец. — Не зря народ его Антихристом окрестил!

С того дня Прокофий Ильич, «сталинский сокол», фронтовик, надол-

го зашил... А там его уже близости инфаркт ждал, который в народе называли по-простому, понятно — «разрыв сердца»...

Как бы там ни было, страна тогда точно в лихорадке какой-то зажила: для прорыва в коммунизм предполагалось ни много ни мало двадцать лет. На фоне первого полета в космос все казалось возможным в великой Стране Советов! Виктор тогда вдохновенно высчитал, сколько лет ему будет, когда грянет эпохальный коммунизм! 32 годка! Ничего. Нормально. Будет он еще вовсе не старик.

Виктор Прокофьевич поныне помнит, как в октябре шестьдесят первого слова про партию, торжественно обещающую через двадцать лет построить в СССР основы коммунизма, зримо раскинулись на карнизе крыши строительного техникума на проспекте Революции, заменив былой обывденный лозунг «Храните деньги в сберегательной кассе».

Коммунизм — это когда все бесплатно, у всех все есть, все всем довольны. У каждой семьи — собственная добротная квартира с холодильником и телевизором. Рабочий день — четыре часа. Деньги отменены. Все питаются в общественных столовых. В магазинах бери любые товары, сколько хочешь. Все равно лишнего не понесешь в мешке. Автомобили свободно стоят на парковках уже заправленные и лучшими мастерами досмотренные безопасности ради — садись в любой и езжай, куда душе угодно.

И Виктор поверил Хрущеву: восхищенно, самозабвенно, с азартом. Тем более что Никита Сергеевич был для него тогда почти свой: он мальчишкой почти вблизи видел его с плеча отца в апреле 1957-го на митинге на центральной площади, когда Хрущев приезжал в Воронеж.

«Здравствуй, будущее!» — каждый день звучала тогда во всех квартирах из радиоточек песня Мурадели:

Мы будем жить при коммунизме!
Его рубеж не так далек.
Трудом мы, подвигом приблизим
Великий день, заветный срок.

И потом, позже, эта вера так и не покинула Виктора Прокофьевича, прошла все испытания на прочность. Вокруг хохот и гогот — анекдоты про Хрущева, про Брежнева, а Степанов каждого из них уперто выгораживает, всякому их слову благородно верит — мол, на этот раз в Кремле сел настоящий человек!

Только почему-то в народе не было особого праздника в связи с тем, что бродивший некогда по Европе призрак коммунизма вот-вот материализуется в родном Советском Союзе.

Хотя некоторые к его приходу и полной победе стали исполнительно готовиться заранее. Соседи Степановых, Уваровы, жившие этажом выше, принялись ежедневно демонстративно ходить с котелками и термосами в ближайшую студенческую столовую за тамошней прогорклой едой, чтобы освободить себя от домашнего кухонного рабства во имя ускорения созидания коммунизма...

А когда однажды директор школы Павел Герасимович Черных, он же преподаватель истории, вызвал Витю Степанова к доске рассказать о том, как воплощается в жизнь моральный кодекс строителя коммунизма, тот машинально назвал Хрущева просто Хрущевым. Директор тотчас бдително и несколько испуганно поправил его с особым идеологическим нажимом: «Не Хрущев, а Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев!»

И это не забылось. Когда Виктор окончивший одиннадцатый класс, Павел Герасимович в его характеристике сурово прописал, что юноша мало интересуется общественно-политической жизнью страны и к построению светлого коммунистического будущего относится с обывательским интересом. У него нет в глазах пламени настоящего комсомольского задора.

Расставаясь навсегда со школой, Витя на выходе чуть было не сбил с ног директора.

— Здравствье, Павел Герасимович... — ошарашено выдохнул он. — Извините, пожалуйста...

— Здравствуй, Степанов, юноша молодой! — колоратурным серебристым голосом проговорил-пропел директор.

— Павел Герасимович, что же вы мне такую характеристику написали? С ней только в тюрьму... — тихо сказал бывший ученик.

— Я однажды заметил, как ты на улице заинтересованно слушал политические анекдоты... И так прыскал, так покатывался от хохота в ответ на филярство антисоветчиков! — Павел Герасимович бдительно прищурился. — Так что, деточка, ты еще малой кровью отделался...

Витя нахмурился. Тот случай и ему не забылся. Шел он как-то в школу мимо густо-желтой пивной бочки, да шнурок тужельный нечаянно развязался. Как у Гагарина, когда тот с рапортом о своем историческом полете бодро шел по ковровой дорожке по трибуне с Никитой Сергеевичем и его ближайшими товарищами по партии. Кажется, Брежневым, Косыгиным, Сусловым, Полянским. Которые через три года устроят заговор против Хрущева.

В общем, пока Витя с шнурком управлялся, мужики сочно гоготали над анекдотами какого-то парня с блатной золотой фиксой на зубе.

— Или вот еще, дяденьки... Едет Хрущ по автостраде в США. И тут за ним погнались гангстеры. Как быть?! Никитка быстренько настрочил записку и выбросил в окно. Гангстеры как ее прочитали, так тут же умчались прочь. И что же он им написал? А то, что эта дорога, по которой они едут, ведет в коммунизм!

— Валяй еще, малый! — забавлялась толпа, заряженная веселым легким пивным градусом.

— За мной не заржавеет! — прищурился тот. — Ловите! Бабка спрашивает деда: «Дед, а дед, коммунизм ученые придумали или политики?» Тот затылок поскреб: «Конечно, политики, бабка. Ученые, они бы на собаках сперва проверили...»

Тут и продавщица пива, накрахмаленно-белоснежная да румяная, не сдержалась — так и повалилась на бочку от хохота и объявила, что за такое удовольствие нальет всей компании еще по кружке «Жигулевского» за свой счет. Не разбавленного! Не успела водички добавить через эти самые анекдоты.

— А я все равно верю в построение коммунизма, Павел Герасимович! И сейчас верю! — отчаянно вскрикнул Витя и заплакал.

Когда в 1964-м Никиту Сергеевича сняли со всех постов, вера в объявленное строительство коммунизма у Виктора действительно несколько не поколебалась. Странное дело, даже окрепла. Он решил так: к власти пришли новые люди, со свежими силами. И чтобы доказать свое право быть в будущей коммунистической жизни нужным человеком, Виктор решил поступить в университет на физмат, стать большим ученым и создать для защиты коммунизма в СССР самую мощную в мире водородную бомбу.

Однако с характеристикой от Павла Герасимовича его не взяли ни в университет, ни в пединститут, ни в железнодорожный техникум. Так что Царь-бомбу для империалистов (кодовое название — Ваня, прозвище — «Кузькина мать», в память о любимом ругательстве Хрущева) пришлось делать другим...

Зато Виктор Степанов стал самым молодым копильщиком рыбы в СССР. А потом и самым молодым ударником коммунистического труда. Его фото на фоне красного знамени даже разместили в главной партийной газете Воронежа «Коммуна», совершенно не поинтересовавшись разоблачительной школьной характеристикой.

С тех пор день ото дня в Викторе начала прорастать самая настоящая крепкая пролетарская косточка. Через несколько лет он вступил в КПСС. И заветные двери универа наконец распахнулись перед молодым членом партии.

Но с третьего курса его отчислили... По состоянию здоровья. Неврастения. Виктор тогда вообще чуть было не оказался в «психушке», наконец допетрив, что созидание коммунизма в СССР, не начавшись, давно накрылось медным тазом. А вместо него в том самом заветном 1980-м народу для отвода глаз устроили Олимпийские игры. И когда «наш ласковый Миша», опоясанный олимпийскими кольцами, улетал над зачарованным стадионом в кущи волшебного леса под трогательную песню, Виктор, слыша слова «Олимпийская сказка, прощай», воспринимал их как прощание навсегда со своей мечтой о коммунизме.

Кажется, он тогда впервые послал его и его творцов на три буквы.

Два месяца он пролежал в темной спальне, горстями поедая полезный для нервной системы элениум и валериановые таблетки. Радио и телевизор не включали. Оберегающе. Там по инерции по-прежнему, хотя далеко не каждый день, все еще пели про то, что «мы будем жить при коммунизме! Его рубеж не так далек...»

Виктор Прокофьевич лихорадочно расчувствовался, мысленно оглянувшись на свое былое двадцатилетнее ожидание торжества всеобщего равенства и братства.

— Я в магазин... — глухо проговорил он с утра пораньше.

— В домашних трико? — дернулась Алевтина.

— Тут два шага, Алечка... — судорожно кашлянул Виктор Прокофьевич. — И потом, все там меня знают. Никто не охнет, никто не ахнет.

— Алечкой ты меня сто лет не называл... Не подлизывайся!

— А ты не нагнетай обстановку.

— Все ясно... — откинув голову, усмехнулась Алевтина. — Ты собрался за бутылкой. Поминки по коммунизму продолжаются? Это прямо твоя религия, атеист ты хренов... Какая там сегодня дата у этой дурацкой затеи твоего Хруща? Сорокалетие? Ладно, иди... — вдруг на удивление смиренно, почти ласково проговорила она. — Только поллитровку не бери, пожалуйста. В твои годы это много будет.

У Виктора Прокофьевича в левом глазу слеза объявилась. И почему в левом? Одинокая, сиротская. И уныло застряла во впадинке холодным комочком.

— Откуда в тебе такая сговорчивость?.. — осторожно усмехнулся Виктор Прокофьевич.

— Запоматывал, дедушка?! — засмеялась Алевтина. — А где я родилась, этого еще не забыл?

— Ну ты даешь стране угля... — вскинулся Степанов, с бодрейшей повел плечами. — В селе Калиновка! Курской области.

Алевтина нежно взяла мужа за руку.

— А чем оно знаменито?..

— Включаю память...

— Итак?..

— Не спеши. Дай шестеренкам в голове как следует провернуться.

— Особенно не напрягайся. А то, чего доброго, шарики за ролики заскочат.

— Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты! — почти молодечески хватил себя по колену ладонью Виктор Прокофьевич. — Это же родина Никиты Хрущева... Ты столько раз говорила, как там у вас все было тогда при его правлении ладно обустроено, какие дороги! Какой клуб!

— И мои любимые конфеты «Чио-Чио-сан» всегда лежали в сельпо! Колбаса «Краковская» не переводилась! Масло сливочное вологодское! Коммунизм у нас был самый настоящий, вами никем отродясь не виданный! Ох и пожили мы на всю катушку! — Алевтина плечом энергично повела, особенно так подмигнула: — А вот тебе секрет отчаянный! За него и сейчас срок получить можно! Я его всю жизнь в себе таила, милый Витенька! В общем, известный тебе товарищ Брежнев — тоже наш, калиновский!.. И жил с родителями в доме как раз напротив семьи Хрущевых! Так они, Никитка и Ленька, меж собой с самого детства враждовали, кому на улице верховодить! А насчет Днепродзержинска Брежневу потом специально выправили в документах. А всем калиновцам повелели держать язык за зубами. Вот почему Леонид Ильич Никиткин коммунизм втихара под сукно засунул!

— Приколы нашего городка?.. — усмехнулся Виктор Прокофьевич, мысленно поворачивая сказанное женой и так и эдак. — Нет, это кто-то зловредно насочинял. Чтобы нас дураками выставить...

— Иди, иди, умник, за своим треклятым пойлом... А то разберут! — хмыкнула Алевтина. — Кстати, в этом году Никите твоему сто двадцать пять лет исполнилось бы... Так что и я с тобой своего исторического земляка возьму да помяну... Только смотри, Витенька, не запей. Помни про свои уважаемые лета.

— Не более двухсот граммов! — бодро, освобожденно засмеялся Виктор Прокофьевич и с силой огладил свое лицо ладонями сверху вниз, словно стараясь расправить на нем все морщины, так-таки набежавшие за его семьдесят с гаком лет.

Снял Виктор Прокофьевич с магазинной полки одну бутылку, потом другую, третью... Бдитительно повертел, оценивая со знанием дела. Но ни одна что-то не впечатлила его. Не покидало ощущение, будто он тут, в магазине, как на минном поле: везде и всюду контрафактный товар и прочие наглые подделки. Травят народ, сволочи. А повод сегодняшний требует зелья высшего пилотажа.

Тут вдруг охранник магазинный откуда-то из закоулка азартно выскочил и на дороге перед ним подбоченясь стал. Неказистый, комар комаром, но с особым едким гонором во взгляде. Хотя возраста не намного моложе Виктора Прокофьевича. Так и кажется, что охранник этот глазами к нему уже за пазуху забрался. А может, и в душу сунется без спроса?..

— Че тебе, дед? Что ты тут шастаешь, бутылки зазря лапаешь? — откашлялся сочно, густо. — Охрану нервируешь. Надо взять что-то — бери. Не маячь без толку.

— Да было бы что взять... — невозмутимо произнес Виктор Прокофьевич и было пошел прочь, чувствуя, как от бдительного, пронзительного взгляда этого резвого сторожа у него начинает болеть голова. Почти как в то время, когда ему «неврастению» приписали.

— Стой, дед! Уйдешь, когда я твои карманы проверю! — вдруг до надрыва построжел, отчаянно просиял охранник. И влет крикнул продавщицам: — Девки! Закрывайте магазин! Я вора, кажись, накрыл! А то сбегнет ненароком!

И тут между ним и Виктором Прокофьевичем вдруг тесно вписались трое парней: по ним без всяких размышлений было видно, что они пришли повторить. То есть по второму заходу сунулись в магазин. И по всему очевидно, что они еще не раз за сегодняшний вечер сюда вернутся. Пусть не всей компанией, но у кого-то одного так-таки достанет сил. Одежды достаточно прилично, физиономии нормальные, но уже в режиме скорой выключки.

— Ты чего, опричник, пожилому человеку день портишь?! — проговорил один из них, положив охраннику руку на голову, словно припухшую вялой, тусклой лысинкой.

Игриво блеснули нетрезвые темно-синие глаза парня. Он внимательно и с подчеркнутым уважением оглядел Виктора Прокофьевича:

— Батя, разреши тебе предложить бутылочку хорошего — нет, очень хорошего — коньяка в качестве сатисфакции за этого сторожевого дебила?

— Благодарю. Только я и сам себе способен взять, — встряхнул плечами Виктор Прокофьевич.

— Не напрягайся, батя! — кашляюще засмеялся другой парень, точно из последних сил. Ухмылка его разъехалась во все стороны, как круги на воде. — Нам это ничего не стоит. От нас не убудет. А тебе — маленький праздник.

— Вам как всегда? — радостно спросила шумную тройцу кассир, откуда-то из-под ног доставая одну за другой несколько бутылок отменного крымского коньяка «Бахчисарай»: искристое густое ласковое золото самой что ни на есть высшей двенадцатилетней пробы-выдержки.

На улице, заметно трезвее на глазах, синеглазый вежливо, но хватко взял Виктора Прокофьевича за рукав. Тихо проговорил, пригнувшись с высоты своего приличного роста почти лицом к лицу:

— Прости, батя, ты при Сталине родился? При Иосифе Виссарионовиче?

— Да, молодой человек, — строго сосредоточился Виктор Прокофьевич.

— В общем, навидался ты всяких генсеков и президентов...

— Лично — никого...

— Я к тебе со всем уважением, батя. Ты мне показался правильным мужиком, — подчеркнуто вятно проговорил синеглазый. — Я давно хотел такого встретить. Знаешь, жожу и выглядываю. Особенно когда на грудь хорошо приму. Тогда у меня душа распахивается! И азарт появляется... Так вот, у меня есть для такого, как ты, правильного мужика, повидавшего жизнь, один вопрос. Всех вопросов вопрос. Глубинный! Нутряной. Лично я глухо не знаю настоящий ответ на него. А вот твое мнение мне важно! До задыха!

— Боюсь я, что ты насчет меня ошибся адресом... — напряженно вздохнул Виктор Прокофьевич, невольно опустил голову и увидел, что стоит на улице возле магазина в своих старых домашних тапочках, на-

дворняные подошвы которых, чтобы не разъявливались при каждом шаге, приходилось время от времени подклеивать и небольшими саморезами впереди прихватывать. Он еще потом их острые концы бархатным напильником аккуратно подтачивал, чтобы доски пола не цепляли, не царапали скрежеща, напрягая нервы.

— Как хочешь отговаривайся, но я от тебя не отстану без ответа, — решенно, сердечно проговорил синеглазый.

Виктор Прокофьевич с любопытством посмотрел на него и вдруг рассмехался — ни с того ни с сего как-то приятно потеплело у него на душе. Так давно не было...

— Говори свой вопрос.

Парень опустил ему на плечи обе свои тяжелые, явно не интеллигентные руки. Кажется, от них потянуло запашком едкого сварочного дымка.

— Как тебя зовут?

— Зовут? Виктор Прокофьевич меня зовут... Степанов я.

— Так вот скажи мне, Виктор Прокофьевич Степанов, это верно, что в нашей стране когда-то собирались построить коммунизм? Для всех! Кажется, при Хрущеве?

Виктор Прокофьевич почувствовал, что у него от напряжения нервно задрожали губы.

— Именно так... — горячечно-глухо выговорил. — Было на то особое решение двадцать второго съезда КПСС. В том году, когда Гагарин в космос полетел.

— А почему я нигде вокруг себя не вижу в реальности этот коммунизм?! Жду ответ! С сугубым волнением.

Синеглазый чуть приотодвинул Виктора Прокофьевича от себя — наверное, чтобы лучше видеть его лицо, чтобы по нему, в дополнение к ожидаемым словам, глубже, пронзительней оценить суть предстоящего откровения.

— Руки убери... — дружелюбно вздохнул Виктор Прокофьевич.

Те немедленно оказались в карманах куртки, втиснувшись в соседство к бутылкам коньяка с поэтическим названием «Бахчисарай», по нашему — «Дворец в саду».

— Да, коммунизм так и не построили... Горько, конечно. До невозможности... — тихо, невнятно проговорил Виктор Прокофьевич. — А причину я до сих пор толком не знаю... Сталин в свое время примерно так сказал о коммунизме: это такое общество, где не должно существовать государственной власти. Может быть, в этом закавыка? Кто такое, сидя наверху, допустит? Какие такие «сильные мира сего»?

Синеглазый стремительно, хватко обнял Виктора Прокофьевича:

— В точку сказано, батя! Значит, Сталин с головой был мужик. Но откуда же тогда у него кровавый тридцать седьмой, репрессии?

— Это от Владимира Ильича и его соратников наследие, дорогие мои ребятки. От них, якобы революционеров, — первые концлагеря, расстрелы без суда и следствия... А насчет Сталина... Отец рассказывал мне одну историю... — напрягся Степанов. — Ты в ней Иосифа Виссарионовича вину найдешь? В общем, на дворе тридцать седьмой год... Село Лукачевка. Утро. И батя мой, еще пацанчик малой, слышит, как отец заходит и своей жене шепчет: «Мань, конюха Ваську Краснова забрали этой ночью...» — «Как так?.. А за что?..» — «Приехала черная машина, воронок, его посадили и увезли...» Прошло время, и все наконец наружу выплыло. Васька этот, Кириллов, а по улице Краснов, на конюшне с мужиками

выпил бутылку доброго самогона. Захмелел и понес — дескать, он в нашей стране есть самая главная фигура, потому что человек трудовой — считай, почти пролетарий! А кто такой Сталин? Поп недоучившийся! Так что его трудовая власть — первая по классовому чину, а захочет — Сталина жену завалит хоть на сеновале, хоть в поле!.. Понимаете, как он выразился? А в нашей деревне у тех самых органов был информатор. Про то каждая собака знала. Его звали Николай Сергеевич, Николай Сергеевич Белкин — избач, при библиотеке состоял. Так вот, дошло до Белкина, как Васька по пьяни оскорбил мужскую честь и достоинство вождя народов! Не откладывая, Николай Сергеевич составил бумагу и подал ее в НКВД. Ну и что? Да то! На раз-два Ваське припечатали десять лет. Сталина не спрашивая! И отправили куда-то в Магадан. Он не вернулся. И через десять лет. Был слух, что урки его порешили. Васька Краснов вроде и там себя выше всех пожелал поставить...

— Вона как, батя! — ахнул синеглазый. — Мне твои слова дороги! Именно твои. Взгляд у тебя маститый! Ты точно духовный пастырь! В Бога веруешь?

Синеглазый хватко, яростно перекрестился. Да так размашисто, что люди, как раз тогда мимо них проходившие, испуганно откачнулись.

— Ну да, ну да... — застенчиво, аккуратно проговорил Виктор Прокофьевич и, чтобы не разочаровать парня, дрогнувшей рукой в свою очередь осенил себя. Достаточно, правда, неуклюже.

— Оно, дед, оно! — горячо вскричал синеглазый. — Я читал, будто Черчилль писал, что русские непобедимы, пока жива их вера православная! Сволочь он, но меня проняло. Даже вспотел я... Нет больше такого народа в мире, чтобы отличался нашим умилением перед Сыном Божиим и Пресвятой Пречистой Богородицей!..

— Все ребятки, все, мне пора... Оставим для трезвой головы эту деликатную тему... — вздохнул Виктор Прокофьевич и вдруг озаренно объявил каким-то даже не своим, особенным голосом: — Правду мы все равно разговорами не найдем! Правду умом не постичь. Только верою православной!..

— Век тебе благодарен буду за такое откровение! — радостно взревел синеглазый, лучисто просияв. — Батя, ты меня человеком утвердил!

Торопливо вернувшись, Виктор Прокофьевич в коридоре тихим сапом принялся аккуратно оттирать половой тряпкой подошвы своих домашних тапок, в которых по забывчивости только что шлепал по улице и даже в магазин заперся.

— Сейчас по телеку такое сказали... — тихо проговорила Алевтина.

— На Марсе найдена жизнь?

— Будто бы с этого месяца пенсию увеличат на тысячу рублей!.. Брехня, может?

Виктор Прокофьевич солидно задумался:

— В нынешних новостях надо правду между строк искать...

— Тысяча... Да что такое она сегодня?.. — напрыглась Алевтина, сощурясь так, будто лук чистила. — Один раз в магазин сходить!

Виктор Прокофьевич взволнованно приобнял жену:

— Кстати, завтра мне уже можно идти на почту за пенсией. Десятое число будет, мое самое. Вот я там и погляжу на эту прибавку, есть она или нет? И порадуюсь ей вместе со всем нашим честным народом. Танцы-манцы тогда с тобой устроим! Анатолия позовем!

Вечером Виктор Прокофьевич как-то так допоздна засиделся у теле-

визора, будто впаялся в старое затертое матерчатое кресло. Уже все «его» новостные передачи давным-давно прошли, однако он никак не спешил перебраться в постель. Все ждал про ту тысячную прибавку что-нибудь ясное услышать. Не услышал.

— Ты как себя чувствуешь?.. — осторожно подошла Алевтина.

Виктор Прокофьевич промолчал.

— Приболел, что ли?

— Еще чего...

Он трудно, продолжительно вздохнул... И вдруг застенчиво сказал:

— А иконы у нас, Алечка, дома есть?..

Алевтина побледнела и насторожилась.

— Они тебе с какой стати вспомнились? — Она робко перекрестилась.

— Я спросил, ты — ответь... Не задавай лишних вопросов. Ох и народ же вы странный, женщины!

Алевтина зачем-то подошла к окну и замерла, увидев напротив в пустоте над холмом полную, налитую светом луну — небесный одуванчик: коснись — и рассыплется на мелкие парашютики.

— Вить, а почему у Земли нет второго спутника? А то небо какое-то одноглазое, одинокое... — усмехнулась она.

— Ты от главной темы не уходи... — опустил голову Виктор Прокофьевич.

— Иконы... — вдумчиво проговорила Алевтина. — Ты, может, надумал их выбросить? И заменить своим «Моральным кодексом строителя коммунизма»? Щас, разбегусь я их тебе подать.

— Принеси хоть одну, пожалуйста, если есть.

Алевтина порывисто вышла и так же скоро вернулась, держа в руках с особым достоинством и гордостью выпцветшие иконки: Спас Нерукотворный, Казанская Божья Матерь и Николай Угодник, которого Алевтина часто с аккуратной нежностью называла «Угодничком». Были те иконы самые что ни на есть небольшие — такие проще от своего домашнего «винствующего» атеиста прятать.

— Если ты их сейчас выкинешь, я следом в окно выброшусь... — отчаянно проговорила Алевтина.

Виктор Прокофьевич по-детски виновато посмотрел на жену. Угнул-ся как-то набок.

— Я хочу креститься... — тихо, покаянно отозвался.

— Что такое случилось, Вить?.. Мир пополам треснул?! — чудакова-то привскрикнула Алевтина.

Застенчиво усмехнувшись и скрестив руки на затылке, Виктор Прокофьевич неторопливо, обстоятельно рассказал, как он недавно с молодежью в магазине говорил о коммунизме, о православии, а они его слова про веру нашу русскую по-настоящему восприняли — с благоговением, уверившись, что говорят с человеком глубоко воцерковленным. И такой стыд его тогда вдруг пронял. Такая пронзила ошеломляющая вина за свой окаянный вражеский атеизм.

— Ты знаешь, я там с ними при разговоре вдруг машинально... перекрестился. И так хорошо это сказалось. Такое небывалое чувство тотчас объявилось во мне... Какая-то невиданная свобода. Никогда такой в себе не ощущал. Точно мой заветный коммунизм вдруг разом наступил! В душе! Небесный коммунизм! — Виктор Прокофьевич слезно вздохнул. — И вот тебе мое резюме: хочу, мать, окреститься. На старости лет. А еще меня как осенило — все беды нашей страны через тот самый дьявольский

атеизм! Когда храмы рушили, священников в проруби топили или на воротах церковных распинали... Вот и маемся теперь через это!

— Я тебе, миленький, во всем помогу... Все подскажу, что и как надо правильно делать. Радость какая! Витенька... — чуть ли не обморочно прошептала Алевтина. — Да ты мне этим своим решением годков жизни несчетно прибавил! А то я всегда молилась украдкой, с трепетом оглядывалась на каждый твой шаг... И так переживала за твое тупое безбожество... Дорогой мой! Наконец! Прости, Господи, нас грешных...

— Решено, Алечка... — растроганно покивал Виктор Прокофьевич и, приотвернувшись, большим пальцем торопливо прикончил слезу, припухшую на щеке.

— Так давай с тобой прямо сейчас молитвы начнем учить? — опустила Алевтина на колени рядом с мужем. — Возьмемся за руки — и начнем!

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! — бодро проговорил Виктор Прокофьевич, прилаживаясь к ней...

Вскоре он крестился. В любимом Алином храме — Никольском, который уже триста лет мощно стоял на одном из приречных воронежских холмов с белоснежной стройной свечой колокольни: в последнюю войну, хотя и обустроили немцы на ней наблюдательный пункт, ни один осколок или пуля храм не зацепили. Когда немцы бежали — город зажгли, а Никольский бряда миновало.

Самого обряда крещения Виктор Прокофьевич толком не запомнил. Как слепящий свет все вокруг застил. Крестилось сразу человек пять. Стояли в шеренгу. Первым был какой-то высокий поджарый мужчина лет пятидесяти в белом ярком костюме и с густыми усами а-ля император Николай II на сухом длинном лице; потом же — борцовского облика молодой человек с тяжелой золотой цепью на шее, худенькая заплаканная девочка лет десяти в простеньком сарафанчике и артистичная, роскошно полная дама, отдаленно похожая на маму Виктора Прокофьевича. И робко, смущенно теснились во множестве молодые мамы с уперто орущими младенцами. А пред ними — весь какой-то нежно-счастливый, будто приговорившийся вот-вот взлететь в божественные дали, маленький, сухонький батюшка Иван.

После таинства крещения совершалось миропомазание: у Виктора Прокофьевича дух перехватило, когда душистый маслянистый холодок коснулся его рта, лба, глаз, ушей, ладоней, груди... Как издалека услышал он напевные, проникновенные слова батюшки Ивана: «Печать дара Духа Святого. Аминь», а следом, в унисон им, невесть откуда вдруг строго и торжественно прозвучало: «В Царствии Небесном обретишь равенство и братство...»

Не там ли заветный коммунизм?..

Из храма после крещения Виктор Прокофьевич вышел нетвердым шагом, даже как бы пошатываясь. Будто заново учился ходить: только родился и впервые увидел земной мир вокруг себя. Еще шаг-другой — так оттолкнется и, может быть, даже полетит. Аля, словно подозревая возможность такого момента, как бы на всякий случай крепко держала мужа под руку. Обоим плакать хотелось. Как это случается порой от переизбытка счастливых эмоций. Виктор Прокофьевич нет-нет да и шмыгал носом. Густо так, емко. При всем при том Алевтина шла напряженно и так, словно на цыпочках. Будто некая сила и ее аккуратно, заботливо тянула вверх.

Алевтина сегодня наконец впервые открыто выставила в зале на серванте свои ранее старательно припрятанные иконы и — правда, не без некоторого смущения — с тихой, кроткой радостью помолилась пред ними, не таясь от мужа, отчетливо, громко выговаривая милые слова: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный...»

Виктор Прокофьевич, став рядом с Алей, тоже перекрестился, часто, искоса поглядывая на нее, чтобы не ошибиться в своем движении рукой.

...А когда наступил тот январский день, суливший ни много ни мало тысячную прибавку к пенсии, отправился Виктор Прокофьевич на почту. Как на разведку боем. Оделся тщательно, прилично и ранней раннего лыжи навестрил, но все равно первым никак не оказался — многие пенсионеры в то утро сорвались с постелей досрочно.

— Паспорт взял? — вслед мужу ласково-бдительно крикнула Алевтина, только что проговорив завершительное «аминь» перед живо, радостно сияющими на серванте иконами, освобожденными из долгого тайного заточения.

Виктор Прокофьевич строго промолчал. Что-что, а паспорт он никогда не забывал. Такая привычка в нем осталась еще с советской поры. Без паспорта — никуда. Мало ли что. А вдруг как? Ничего не докажешь про себя. Так что придется следовать в отделение для тщательного выяснения личности.

Кстати, бывать на почте ему по-своему нравилось. Здесь ощущалась какая-то особая атмосфера — может быть, потому, что сюда приходили и отсюда уходили непрерывными потоками письма, посылки, телеграммы во все уголки страны и далее того. На почте он чувствовал себя как бы стоящим на высоком холме, откуда волнующе видна бескрайняя даль-дальняя всей земли нашей.

Получив пенсию, не отходя, он деловито, строго пересчитал положенные ему дензнаки. Волнующе хотелось кончиками собственных пальцев живые явственно ощутить весомость обещанной щедрой прибавки.

Тысячными ему выдали пенсию. Как всегда. И как всегда этих тысячных оказалось ровно девять штук. И к ним лишь некие рублей шестьсот «пристегнуты».

Виктор Прокофьевич напряженно вздохнул.

— Что вы еще ждете, дедуля?! — с неприязнью вскрикнула молоденькая оператор: вся из себя красивенькая, энергичная до невозможности.

— Прибавку к пенсии жду, ту, тысячную... — глухо отозвался Виктор Прокофьевич.

— Откуда я вам ее возьму?!

— Было же сказано... В связи с повышением пенсионного возраста. Мол, полагается...

— Что вы, дедуля, на меня тут своим китайским чесноком настырно дышите?! — построжила оператор. — Замордовали! Каждому объясняй. Я так в психушке скоро окажусь. Слушай, старик, и запоминай: те, у кого, типа тебя, пенсия была меньше прожиточного минимума, получали социальную доплату. А как только пенсия увеличилась, то, соответственно, на столько же сократили и урезали эту самую социальную доплату. Получилось так, что одной рукой вам дали, а другой рукой взад и забрали! Вот такая икебана!

Виктор Прокофьевич в озадаченности деньги машинально выронил.

Стоявшая за ним тяжелая, дородная старушенция на костылях бодро-насмешливо объявила на весь зал:

— Нечего тут своими грошовыми деньгами мусорить! Не смог заработать себе достойную пенсию — так теперь хочешь вывернуться за счет государства?

— Вы это... того... — с усилием выдохнул Виктор Прокофьевич: губы у него онемели и как бы слиплись. — Я ударник коммунистического труда... Просто с документами путаница вышла.

— Если каждый примется тут права качать!.. Покиньте очередь, Степанов! — вдохновенно постановила оператор.

На почте народ словно этого только и ждал:

— Ступай, дед, подобру-поздорову! Бабка твоя уже все глаза проглядела, тебя высматривая!.. Гражданин, не нервничайте народ!.. Все мы тут — ударники! А что денег в кармане пусто — так это, значит, мы уже при коммунизме Никиткином живем...

Виктор Прокофьевич при этих словах тотчас обернулся на голос — так резко, что чуть голова с плеч не сорвалась. Но увидеть никого перед собой не увидел: серебристое сияние застило все.

В него он и повалился, теряя равновесие...

Пришел в себя Виктор Прокофьевич в машине скорой помощи. Кажется, еще не ехали. Он лежал на слегка перекошенных носилках, туго прихваченный ремнями. Пахло какой-то лекарственной дрянью. И почему-то ливерной колбасы. Он тревожно вздрогнул, было решив, что находится на операционном столе.

— Что со мной?.. — прошепелявил, не узнав свой голос. Словно кто-то другой это за него спросил.

— Обморок... — глухо отозвалась медсестра, аппетитно, сосредоточенно догрызая бутерброд с каким-то паштетом.

— Так что, девки, едем?! Ваш дедок уже оклемался? — это, кажется, водитель крикнул.

— Как вы себя чувствуете?.. — низко наклонилась к Виктору Прокофьевичу медсестра.

Запах ливерной колбасы усилился, стал физическим ощутимым, словно она была у Виктора Прокофьевича во рту. Никудышная колбаса. Как почти все в нынешних магазинах. Точно из пластика сварганенная.

— Ничего вроде... — тихо сказал Виктор Прокофьевич, как оглядев себя изнутри внутренним бдительным взглядом. — Только вы не подумайте, пожалуйста, что вся эта напасть со мной приключилась из-за того, что мне вместо обещанной тысячи к пенсии выдали только шестьсот с небольшим. Меня слова про коммунизм сразили! Кто-то очень не вовремя пошутил...

— Какой такой коммунизм? — хмыкнула медсестра. — Наше поколение ни о чем таком уже и знать не знает. Да бог с ним, с этим вашим коммунизмом! Вы-то идти сможете своими ногами, дедушка?

У нее было какое-то несовременное, достаточно заботливое выражение на лице.

«Неплохая девчужка...» — машинально подумал Виктор Прокофьевич и почти мужественно вздохнул.

— Да, идти я смогу.

— Или лучше подвезти вас?

— Не надо. Тут недалеко.

— Нет, все равно подкинем. Зима.

— Я в порядке.

Через полчаса Виктор Прокофьевич, покряхтывая, парил ноги на кух-

не в тазике, добавив в кипяток по Алиному рецепту полстакана яблочного уксуса, столько же питьевой соды и столовую ложку тертого имбиря.

И тут пришел Анатолий. То есть как бы вломился, точно штурмом взял их дверь, как некогда ворота дворца Амина. Он ворвался в тот самый момент, когда Виктор Прокофьевич ритуально парил ноги, а напротив него, обессиленно привалившись к дверной притолоке, стояла со свежим махровым полотенцем в руках заплаканная Алевтина.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день... Сочувствую относительно прибавки к пензии по полной программе! — вежливо проговорил Анатолий. — Кстати, как там наш великий генералиссимус Суворов говорил? После бани штык продай, а выпей!

Обреченно вздохнув, Алевтина занялась гостевым столом.

— Только, чур, сегодня ты мне про то, как штурмовал дворец Амина, рассказывать не станешь?.. — душевно засмеялся Виктор Прокофьевич. — Настроение у меня сейчас самое что ни на есть пораженческое.

— А я тебе его враз подниму! — одним, а потом и вторым глазом озорно подмигнул Анатолий. — Я расскажу щас, через какую оказию мне теперь можно хоть и вовсе от моей нищенской пензии отказаться! Как вам известно, моя дочь замужем, в Москве давно живет. Там же внучка мне родила. Эдуарда! Вырос умнящий пацан! В МГУ на математическом факультете он самый продвинутый. Победитель всемирных олимпиад. Так вот, он присылал моим бедственным пенсионным положением и стал регулярно присылать денежку. Очень приличную. А откуда она у него? Как хитроумно выяснил я у дочурки, оказывается, мой внучок, будущий Эпштейн, в стриптизном клубе после занятий по вечерам выступает... Ради деда! Денег платят ему там немерено!

— Все-таки, наверное, будущий Эйнштейн... — строго вздохнул Виктор Прокофьевич. — И вообще, как-то это все нехорошо... Мне твоя история не понравилась. Честно.

Анатолий хмыкнул и вдруг махом выпил две рюмки подряд с видом человека, которому отныне все в этой жизни позволено — заслужил, выстрадал. Третью налил! Даже казалось, что он сейчас под нее, невзирая ни на что, так-таки приступит к самому своему коронному рассказу — про взятие дворца Амина и как моджахед ему из пращи камнем по спине жажнул.

— Что смотрите на меня, как на врага народа?! — Анатолий вскрикнул глухо, с каким-то то ли присвистом, то ли сиплым верещанием. — Ты песню такую слышал: «Сегодня мы не на параде, а к коммунизму на пути, в коммунистической бригаде с нами Ленин впереди»? Только слово «коммунизм» сегодня замени на «капитализм». И пой песенку, пой! Ишь, не нравится ему... Тарзану певицы Королевой, значит, стриптиз разрешен и даже определен ему в заслугу, а нам, простым людям, — фиг?

— Молчу-молчу... — покорно опустил голову Виктор Прокофьевич. Прежде всего, чтобы слезу неожиданную спрятать. — А я, милые мои, в светлое будущее все равно верю... Пусть оно и не будет называться коммунизмом...

Он покаянно вздохнул и вдруг побледнел, точно окунулся лицом в тазик с мутно-серой краской.

— Я понимаю, что ничего не понимаю... — сокрушенно вздохнул Анатолий. — Ясно одно, Прокопыч: тебе надо было в свое время в философы подаваться, а не на физмат переться. В тебе наш российский Кант пропал!

— Тогда я предлагаю тост за несбытшуюся коммунистическую мечту пострадавшего советского народа... — тихо, сердечно проговорил Виктор Прокофьевич и хотел было покаянно перекреститься, но не успел даже замах рукой сделать — вкось соскользнул на пол.

Почему-то в этот миг Алевтина вдруг машинально вспомнила, как однажды у нее на глазах упала в реку Воронеж статуя Сталина. До того лет тридцать простоявшая на косогоре в здешнем Доме отдыха имени Горького. Оттуда скульптурный Иосиф Виссарионович во всякое время года вдохновенно глядел на замечательные лесистые заречные просторы, пока не грянул XXII съезд партии. И однажды на глазах у Али и ее подруг какие-то суетливые деловитые люди, подрубив топорами гипсовые ноги вождя, столкнули его с крутого обрыва. Девчонки отчаянно ахнули.

...Как ни странно, «медицина» приехала скоро. Фельдшер скучно осмотрел Виктора Прокофьевича и велел сестре сделать какой-то укол.

Вскоре Алевтина ехала возле мужа в какую-то больницу — судя по начавшимся колдобинам, где-то за городом.

Всю дорогу молчали — медики от усталости, она от ужаса, а Виктор Прокофьевич просто-напросто был без сознания. На дорожных ямах его голова с синюшно-бледным, ничего не выражающим лицом тупо переваливалась из стороны в сторону, словно он от чего-то настойчиво отказывался. Алевтина с отчаянием чувствовала, что в большом безвольном теле мужа его самого сейчас как бы и нет — душа словно отлетела: то ли временно, то ли уже навсегда...

Остаться с Виктором Прокофьевичем в больнице, чтобы «хоть пот отирать у него со лба», ей не позволили.

Только на третий день Алю так-таки допустили в реанимацию. Она по-хозяйски поправила каждую складочку мужнина одеяла, устроила поудобней подушку и поставила в изголовье на тумбочку миску свойских, как налитых, темно-румяных ядреных котлет. Чтобы Витенька хотя бы вдохнул аромат родного дома.

Ей вдруг показалось, что веки Виктора Прокофьевича напряглись, словно он силился открыть глаза...

Как бы там ни было, этой ночью часу в третьем Виктор Прокофьевич слабыми, мучительными рывками впервые оторвался от своего жесткого реанимационного ложа. Уныло, тупо огляделся в палате, болезненно щурясь от здешнего зыбкого мертвенного света. И вдруг робко улыбнулся, вспомнив привидевшееся ему во время операции путешествие в некий явно неземной мир. Вначале, как он и читал об этом в интернете, был какой-то огромный ребристый тоннель с тусклой подсветкой. Из него Виктор Прокофьевич с удивительным равнодушием оглянулся на свое бездыханное тело, далеко внизу окруженное утомленными врачами, усмехнулся и смело тронулся дальше.

Он медленно плыл сквозь тоннель, как восходил из глубины морской к густому золотистому свету вверх. И будто бы звук колокольный, мягко-емкий, невесть откуда исходящий, становился с каждой минутой все отчетливей.

«Тебе еще рано сюда... — вдруг тихо, бережно сказал ему нежно сияющий ангел с перламутровыми крылышками, приснувший навстречу, как голубок с карниза. — Ты сейчас вернешься обратно... Только запомни: тебе поручено передать всем людям, как им наконец наладить на земле справедливую и счастливую жизнь. Вы много горя испытали на своем пути и не раз мечтали построить достойное светлое будущее. Но каждый

раз выбирали ошибочные тупиковые пути. И с коммунизмом так. Истина в учении, которое называется Харисто гунаиз. Человеку достаточно будет произнести эти два слова, как он и все люди на планете точно по мановению волшебной палочки обретут заветное счастье! Это как бы ключ к нему... Харисто гунаиз!»

И Виктор Прокофьевич действительно как бы вернулся назад, на свою больничную кровать, еще не остывшую. Он долго лежал в полной неподвижности, словно заново привыкая к своему большому, пронизанному болью телу. Наконец медленно потянулся и начал неуклюже отсоединять от себя всякие там трубки и провода, а потом, набравшись смелости, опустил ноги и неспешно зашаркал искать хоть кого-то. Он остро сознавал, что может в любую минуту умереть уже по-настоящему. Так что ему было крайне необходимо не откладывая сообщить хоть кому-нибудь заветные слова ангела.

Палаты все были закрыты. Дежурная медсестра лихорадочно спала, словно вгрызлась в сон: все ее хрупкое тельце резко подергивалось.

Виктор Прокофьевич нащупал на служебном столе возле телефона лист чистой бумаги и ручку. Несмотря на растущую боль за грудиной, начал старательно писать.

Последнюю точку он поставил, когда за окном реанимационной взбурилось солнце, еще тускло-багровое, четкое, не залохматившееся своими размашистыми лучами.

В палате Виктор Прокофьевич аккуратно прилег, прижался к пропахшей лекарствами подушке и вдруг заплакал. Это были счастливые слезы радости за счастливое будущее человечества. Наконец-то...

Через две недели его выписали. Он уже мог достаточно сносно ходить с бадиком, сам ел — правда, только левой рукой — и почти все понимал, что происходило вокруг. Однако речь к нему толком не вернулась. Говорить он моментами говорил, порой даже избыточно много, слишком лихорадочно. Эта его новая речь разве что походила на крик раздраженной сойки. Само собой, его никто не понимал. Ни Алевтина, ни Анатолий. И даже жившая над Степановыми вузовский преподаватель лингвистики Жозефина Легранд ничем не могла помочь. Тарабарщину нес Виктор Прокофьевич.

Правда, через несколько дней Жозефина привела к Степановым на консилиум двух своих коллег-профессоров с кафедры мировых языков и культур того самого универа, в котором Виктор Прокофьевич полвека назад проучился три курса на легендарном физмате.

— Вы только зацените сей филологический феномен! — чуть ли не со слезами на глазах вскрикнула Жозефина.

Около получаса Виктор Прокофьевич сдержанно, застенчиво беседовал с учеными на своем особом языке, а потом постепенно начал раздражаться и в конце концов нервно перешел на досадливый крик.

— Асдар годзи долук! Ор эхфун тилол сусор! Эглис оторон юрфес! Харисто гунаиз!!! — в таком вот духе яростно объяснялся он на своем неслыханном для маститых лингвистов языке, скрипел зубами и лихорадочно писал ученым записки — одну за одной, вкривь и вкось. И хотя русскими буквами, но не менее заумно.

Чувствовалось, что во всем этом его загадочном словоизвержении именно два слова — харисто гунаиз — особенно важны для Виктора Прокофьевича. Слово в них какой-то высший смысл был заключен. Он про-

износили и писал это свое «харисто гунаиз» с особым слезным волнением и едва сдерживал гнев, видя, что его никак не понимают. Кулаком судорожно грозил, бледным от перенапряжения.

— Такого языка, на котором сейчас говорит ваш муж, нет на планете ни у одного народа, народности или племени, — наконец объявили ученые лингвисты Алевтине свой строгий, выверенный профессорский вердикт. — И не было ни у кого в прошлом. Построение звуков, частей слов у вашего Виктора Прокофьевича таково, словно перед нами язык, извините, некоей взеземной цивилизации! Не меньше и не больше...

Через несколько дней Виктор Прокофьевич наконец обреченно замолчал и только время от времени судорожно-дерзко усмехался, густо вздыхал. То, что у него ни с кем не установилось взаимопонимание, все настойчивее начинало казаться ему тайным заговором против такого близкого, такого возможного всечеловеческого счастья.

Где-то через месяц те самые два профессора принесли выписанное ими за свой счет из Израиля новейшее дорогущее лекарство по части инсультов.

На третьи сутки Виктор Прокофьевич заговорил как все. Достаточно отчетливо. Это, само собой, стало общим праздником. Вновь собрались вместе Аля, преподаватель лингвистики Жозефина Легранд и Анатолий с женой. Конечно, профессора пришли, еще и с каким-то своим приятелем, просто-таки светилом сегодняшней медицины. Кажется, именно он и помог достать в Израиле спасительное лекарство. Или даже сам его создал.

За праздничным столом Жозефина в подробностях рассказала гостям о странном «инопланетном» языке, на котором еще недавно так горячечно изъяснялся больной Степанов. Словно из кожи вон лез донести до человечества некое великое откровение. Жозефина с усмешкой показала всем — и самому Виктору Прокофьевичу — листки, на коих тот недавно упорно, стоная и вскрикивая, писал странные загадочные слова; но чаще всего, настырней всего — именно то самое «харисто гунаиз».

— Откройте нам, наконец, что за тайна скрывается в этом выражении?! — требовательно и в то же время счастливо вскрикнула Жозефина.

Виктор Прокофьевич пробежал глазами свои каракули, побледнел от напряжения и беспомощно оглянулся по сторонам.

— Эггис оторон юрфес... Харисто гунаиз... Убейте меня, но я не помню, что это такое. Неужели я всю эту ахинею настрочил? Вы не путаете? Какой-то бред сивой кобылы... Извините... — смутился Виктор Прокофьевич и вдруг тихо заплакал, прижав ладони к лицу: — Я человек больной... Не мучайте меня!

На этот раз слезы были по-детски горячие и быстрые. Словно что-то нагорело у него внутри, накалилось безмерно...

